

Федору Шаляпину посвящаю
М. Горький

...Позвольте рассказать жизнь мою; времени повесть эта отнимет у вас немного, а знать ее — надобно вам.

Я — крапивник, подкидыш, незаконный человек; кем рожден — неизвестно, а подброшен был в экономию господина Лосева, в селе Сокольем, Красноглинского уезда. Положила меня мать моя — или кто другой — в парк господский, на ступени часовенки, где схоронена была старая барыня Лосева, а найден я был Данилой Вяловым, садовником. Пришел он рано утром в парк и видит: у двери часовни дитя шевелится, в тряпки завернуто, а вокруг кот дымчатый ходит.

У Данилы прожил я до четырех лет, но он сам многодетный был, кормился я где попало, а когда пищи не найду, — попищу, попищу да голоден и засну.

Четырех лет взял меня к себе дьячок Ларион, человек одинокий и чудесный; взял он меня для скуки своей. Был он небольшого роста, круглый и лицо круглое; волосы рыжие, а голос тонкий, подобно женскому, и сердце имел тоже как бы женское — до всех ласковое. Любил вино пить и пил помногу; трезвый молчалив бывал, глаза полузакрыты всегда, и вид имел человека виноватого пред всеми, а выпивши — громко ирмосы и тропари пел, голову держал прямо и всякому улыбался.

От людей в стороне стоял, жил бедно, надел свой попу отдал, а сам, зиму и лето, рыбу ловил да — забавы ради — птиц певчих, к чему и меня приучил. Любил он птиц, и они не боялись его; умилительно вспомнить, как, бывало, бегают поползень — птица очень дикая — по рыжей голове его и путается в огневых волосах. Или сядет на плечо и в рот ему заглядывает, наклоня умную голову свою. А то ляжет Ларион на лавку, насыплет конопли в голову и в бороду себе, и вот слетятся чижи, щеглята, синицы, снегири —



роются в волосах дьячка, по щекам лазят, уши клюют, на нос ему садятся, а он лежит и хохочет, жмуря глаза да ласково беседуя с ними. Завидовал я ему в этом — меня птицы боялись.

Нежной души человек был Ларион, и все животные понимали это; про людей того не скажу — не в осуждение им, а потому, что, знаю, — человека лаской не накормишь.

Зимой трудновато бывало ему: дров нет и купить не на что, деньги пропиты; в избенке, как в погребе, холодно, только пичужки щебечут да поют, а мы с ним, лежа на холодной печи, всем, чем можно, окутаемся и слушаем птичье пение... Ларион им подсвистывает — хорошо умел! — да и сам был похож на клеста: нос большой, крючком загнутый, и красная голова. А то, бывало, скажет мне:

— Вот, слушай, Мотька, — меня Матвеем окрестили, — слушай!

Ляжет на спину, руки под голову, зажмурит глаза и заведет своим тонким голосом что-нибудь из литургии зауспокойной. Птицы замолчат, прислушаются, да потом и сами впереводку петать начнут, а Ларион пуще их, а они ярятся, особенно чижи да щеглята или дрозды и скворцы. До того он допоеется, бывало, что сквозь веки из глаз у него слезы текут, щеки ему мочат и, омытое слезами, станет серым лицо его.

От такого пения иной раз жутко становилось, и однажды я сказал ему тихонько:

— Что ты, дядя, все про смерть поешь?

Перестал он, поглядел на меня и говорит, смеясь:

— А ты не бойся, глупый! Это ничего, что смерть, зато — красиво! В богослужении самое красивое — зауспокойная литургия: тут ласка человеку есть, жалость к нему. У нас, кроме покойников, никого не умеют жалеть!

Слова эти — хорошо помню, как и все его речи, но понимать их в ту пору я, конечно, не мог. Детское только перед старостью понятно, в самые мудрые годы человека.

Помню тоже — спросил я его: почему Бог людям мало помогает?

— Не его это дело! — объяснил он мне. — Сам себе помогай, на то тебе разум дан! Бог — для того, чтобы умирать не страшно было, а как жить — это твое дело!

Рано забыл я эти речи его, а вспомнил — поздно, и оттого много лишнего горя перенес.



Замечательный был человек! Все люди, когда удят, не кричат, не разговаривают, чтобы не пугать, — Ларион поет неумолчно, а то рассказывает мне жития разные или о Боге говорит, и всегда к нему рыба шла. Птиц ловят тоже с осторожностью, а он все время свистит, дразнит их, беседы с ними ведет, и — ничего! — идет птица и в чапки и в сеть. Опять же — насчет пчел — рои отсаживать или что другое, — старые пчеляки с молитвой это делают, и то не всяк раз удается им, позовут дьячка — он бьет пчел, давит их, ругается матерно, — а все сделает в лучшем виде. Не любил он пчел: они у него дочь ослепили. Забралась на пчельник девочка — три года было ей, — а пчела ее в глаз и чикнула; разболелся глазок да ослеп, за ним — другой, потом девочка померла от головной боли, а мать ее сошла с ума...

Да, все он делал не как люди, ко мне ласков был, словно мать родная; в селе меня не очень жаловали: жизнь — тесная, а я — всем чужой, лишний человек. Вдруг чей-нибудь кусок незаконно съем...

Приучил меня Ларион ко храму, стал я помогать ему по службе, пел с ним на клиросе, кадило зажигал, все делал, что понадобится; сторожу Власию помогал порядок в церкви держать и любил все это, особенно зимой. Церковь-то деревянная, топили ее хорошо, тепло было в ней.

Всенощная служба больше утренней приятна мне была; к ночи, трудом очищенные, люди отрешаются от забот своих, стоят тихо, благолепно, и теплятся души, как свечи восковые, малыми огоньками; видно тогда, что хоть лица у людей разные, а горе — одно.

Ларион любил службу во храме: закроет глаза, голову рыжую кверху закинет, кадык выпятит и — зальется, запоет. До того доходил, что и лишнее певал, — уж поп ему из алтаря знаки делает — куда, дескать, тебя занесло? И читал тоже прекрасно, нараспев, звонко, с ласкою в голосе, с трепетом и радостью. Поп не любил его, он попа — тоже и не раз, бывало, говорил мне:

— Какой это священник! Он не поп, а барабан, по которому нужда и привычка палками бьют. Был бы я попом, я бы так служил, что не токмо люди — святые иконы плакали бы!

И это верно — нехорош был поп на своем месте: лицо курносое, черное, словно порохом опалено, рот широкий, беззубый, борода трепаная, волосом — жидок, со лба — лысина, руки длинные. Голос имел хриплый и задыхался, будто не по силе ношу нес. Жаден был



и всегда сердит, потому — многосемейный, а село бедное, зéмли у крестьян плохие, промыслов нет никаких.

Летом, когда и комар богат, мы с Ларионом днём и ночуем в лесу, за охотой на птиц, или на реке, рыбу ловя. Случалось — вдруг треба какая-нибудь, а дьячка нет, и где найти его — неведомо. Всех мальчишек из села разгонят искать его; бегают они, как зайчата, и кричат:

— Дьячок! Ларивон! Айда домой!

Едва найдут... Поп ругается, жалобой грозит, а мужики — смеются.

Был у него один дружок, Савёлка Мигун, ворище известный и пьяница заливной, не раз бит бывал за воровство и даже в остроге сидел, но, по всему прочему, — редкостный человек! Песни он пел и сказки говорил так, что невозможно вспомнить без удивления.

Множество раз я его слышал, и теперь вот он предо мною жив стоит: сухонький, юркий, бороденка в три волоса, весь оборванный, рожа маленькая, клином, а лоб большой, и под ним воровские развеселые глаза часто мигают, как две темные звезды.

Бывало, притащит он бутылку водки, а то Лариона заставит купить, сядут они друг против друга за стол, и говорит Савёлка:

— А ну-ко, дьяче, валяй «Покаяние»!

Выпьют... Ларион поконфузится немножко да и запоет, а Савёлка сидит, как пришитый, мигает, бороденкой трясет, слезы на глазах у него, лоб рукой поглаживает и улыбается, стгоня пальцами слезинки со щек.

Потом подскочит, как мяч, кричит:

— Очень превосходно, Ларя! Ну, и завидую я Господу Богу — хорошо песни сложены ему! Человек-то, Ларя, а? Каков есть человек, сколь он добр и богат душой, а? Ему ли уж не трудно перед Богом ходить! А он — вот как — на! Ты мне, Господи, — ничего, а я тебе — всю душу!

— Не кощунь! — скажет Ларион.

— Я? — кричит Савёлка. — Нисколько! Даже и в помыслах нет! Где же я кощуню? Никак! Радуюсь за Бога — и больше ничего! Ну, а теперь я тебе спою!

Встанет, руку вытянет и начнет колдовать. Пел он тихо, таинственно пел, глаза широко раскроет, зажгет их каким-то особенным огнем, и на вытянутой руке его сухие пальцы шевелятся всегда, словно ищут чего-то в пустоте. Ларион к стене отвалится, опираясь



руками о скамью, откроет рот и смотрит удивленный; я на печи лежу, а сердце у меня замирает печально-сладостно. Потемнеет весь Савёлка, только мышинные зубы его блестят, да сухой язык шевелится, как у змеи, и пот на лбу выступит крупными каплями. Голосу у него — конца нет, так и льется, так и светится, подобно ручью в поле. Кончит, покачивается, оботрет лицо ладонью, выпьют оба и долго молчат. Потом Савёлка просит:

— А ну-ко, Ларя, «Волною морскою»!

И так они весь вечер друг друга утешают, пока не спьянятся оба; тогда Мигун начинает похабные сказки сказывать про попов, помещиков, царей; дьячок хохочет и я тоже, а Савёлка без устали сказку за сказкой вяжет и так смешно, что впору задохнуться со смеху.

А еще лучше он по праздникам у кабака певал: встанет пред народом, зажмурится крепко, так что на висках морщины лягут, да и заведет; смотришь на него — и словно песня в грудь ему из самой земли исходит: и слова ему земля подсказывает, и силу голосу дает. Стоят и сидят вокруг мужики; кто голову опустил и соломинку грызет, иной смотрит в рот Савёлке и весь светится, а бабы даже плачут, слушая.

Кончит он — просят:

— Валяй, брат, еще!

Выпить поднесут.

Был про Мигуна такой рассказ: украл чего-то в селе, поймали его мужики да и говорят:

— Ну, — кончено твое дело! Теперь мы удавим тебя, невтерпеж нам ты!

А он будто отвечает:

— Бросьте, мужики, не дело затеяли! Краденое вы у меня отняли, стало быть — ничего вами не потеряно, — имение всегда новое можно нажить, а такого человека, как я, — где вам взять? Кто вас утешит, как не будет меня?

— Ладно, — говорят, — толкуй!

Повели его в лес вешать, а он дорогой и запел. Сначала шли — торопились, потом перестали спешить, а пришли к лесу — и готова веревка, но ждут, когда он кончит последнюю песню свою, а потом говорят друг другу:

— Пускай еще одну споет, это ему вместо отходной будет!